
Ведьма из Сызрани
Касьяна
29 февраля 2036

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Касьяна

https://litres.ru/74940034
SelfPub; 2026

Аннотация

Двадцать девятое февраля 2036 года. Близнецам Шмелёвым исполняется восемь — во второй раз по-настоящему. А рыжей Касе Колесниковой — четыре, впервые в жизни в свой день.

Четыре года назад её назвали в честь Касьяна Немилостивого, от взгляда которого всё вянет. Теперь Касьян просыпается под Жигулями, и у Каси всё растёт: берёза распускается при минус двадцати, кот становится облаком, лысый сфинкс обрастает шерстью, снежная девочка тает от одного взгляда, а рожь у Михеича колосится в снегу. Папа-полицейский хочет, чтобы дар у дочки забрали. Забрать может только Касьян. Двести лет назад он однажды так уже сделал.

У Касьяна один день до полуночи. Ему надо научиться смотреть снизу, а учит его восьмилетний Алёша, лёжа на полу под старым дубовым столом.

Смешная и тёплая история о зиме и весне, которым нужно встретиться посередине. А ещё — о стиральной машине, именинных свечках и носках из кошачьей шерсти. Книгу можно читать отдельно от серии.

Содержание

Кто есть кто 5
Глава 1. Рисунок первый: жёлтое на белом 8
Глава 2. Рисунок второй: кот-облако 23
Глава 3. Рисунок третий: гора с дыркой 39
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Милана Панова
Ведьма из Сызрани. Касьяна

Ведьма из Сызрани. Касьяна

Серия «Ведьма из Сызрани». Книга двадцать вторая

Кто есть кто

Книгу можно читать отдельно от серии. Если вы впервые в Сызрани, вот с кем вам предстоит познакомиться.

Дом на Верхне-Кирпичной, 13

Василиса Андреевна Шмелёва — ведьма. Десять лет назад приехала из Москвы и унаследовала от бабушки Агафьи дом, кота, домового и клиентов. Видит нитки, которые связывают людей и вещи.

Егор Шмелёв — её муж, участковый. Нечисти не видит, но всегда находит, что сделать по-человечески.

Гаша и Алёша — их близнецы. Родились двадцать девятого февраля, поэтому настоящий день рождения у них бывает раз в четыре года. Гаша видит нитки с рождения. Алёша тихий и слышит, что помнит дом.

Модест — чёрный кот-фамильяр, больше двухсот лет. Говорит, ест сметану, произносит «тьфу».

Фрол Евсеич — домовой, около трёхсот лет. Ворчит, печёт пироги, пьёт чай из синего блюдечка.

Устя — кикимора ростом с кошку. Живёт за печкой и прядёт из Модестовой шерсти.

Луи — лысый кот-сфинкс в рыжем свитере. Живёт в бане и говорит «мон ами».

Соседи

Зинаида Павловна — бывшая завуч, сорок лет в школе.

Её муж Геннадий Петрович — отставной вертолётчик.

Варя — девочка из снега, дочь Мороза. Живёт с Зинаидой Павловной и Геннадием Петровичем, а старика Михеича с Нижне-Кирпичной зовёт дедом. Боится тепла.

Михеич (Владимир Михеевич) — вдовец, мастер на все руки. На его огороде растёт рожь, от которой зависит покой полудницы — хозяйки ржаного поля.

Евсей — отец Фрола, старший над домовыми всей Волги. Живёт у Михеича.

Колесниковы

Игорь Колесников — полицейский, напарник Егора.

Даша — его жена.

Кася (Касьяна Игоревна) — их дочь. Родилась двадцать девятого февраля 2032 года на кухне у Шмелёвых, в метель, и получила имя в честь Касьяна. Рыжая, с зелёными глазами.

Из-под Жигулей

Касьян Немилостивый — из старых поверий: «Касьян на что ни взглянет — всё вянет». Спит в Касьяновой яме под Жигулёвскими горами и просыпается раз в четыре года, двадцать девятого февраля. Четыре года назад впервые сел за человеческий стол.

Еремей Касьянович — его сын, «сызранский чёрт». Котелок, монокль, трость. Говорит «голубчик». Живёт на маяке в Сенгилее.

Онуфрий и Пантелей — слуги Касьяна, черти с вилами. Вилами они поднимают хозяину тяжёлые веки.

Лось Фёдор — лось. Сам по себе.

Глава 1. Рисунок первый: жёлтое на белом

На рисунке было солнце. Большое, жёлтое, с ресницами вместо лучей. Под солнцем — белый лист, ничем не закрашенный, потому что белый карандаш потерялся ещё в декабре, а Кася рассудила, что снег и так белый, его можно не рисовать.

— Это что? — спросила Даша.

— Это наша берёза, — сказала Кася. — Ей тепло.

Берёзы на рисунке не было. Было только солнце с ресницами и пустое место под ним. Даша посмотрела на рисунок, потом в окно, на настоящую берёзу во дворе, и ей стало нехорошо.

Берёза стояла чёрная.

Не голая, как положено берёзе в конце февраля, — а именно чёрная, как будто её окатили тушью. На нижних ветках, тех, что тянулись к их окну на втором этаже, висели скрюченные тёмные лоскутки. Листья. Мёртвые, сморщенные, обожжённые морозом листья, которые три дня назад были зелёными.

Три дня назад, в воскресенье, Кася сидела на подоконнике и смотрела на берёзу. Долго. Полчаса, может быть, — Даша как раз мыла посуду и радовалась, что ребёнок занят. Потом

она вытерла руки, подошла к окну, чтобы снять дочь с подоконника, и увидела, что на берёзе распускаются почки.

При минус восемнадцати.

Сначала она решила, что ей кажется. Потом — что это иней так лёг. Потом почки лопнули, одна за другой, с тихим, почти неслышным за стеклом треском, и из них полезли листья — клейкие, ярко-зелёные, майские, — и Даша схватила Касю под мышки и унесла в комнату, а сама вернулась и стояла у окна, пока не стемнело. Листья росли до вечера. Ночью ударило минус двадцать два. К утру они почернели.

Соседка снизу, Римма Тагировна, — не та Римма, другая, их в Сызрани, оказывается, много, — вышла утром с мусорным ведром, посмотрела на берёзу и долго крестилась, хотя Даша точно знала, что она мусульманка.

— Даша, — сказала она потом на лестнице, — это экология. Я по телевизору видела. Это всё из-за станции.

Даша кивнула и не стала спорить. Пусть будет станция.

Касе было без двух дней четыре года. Вернее — ей было три года и одиннадцать месяцев с хвостиком, но четыре года ей должно было исполниться не через два дня, а впервые в жизни: Кася родилась двадцать девятого февраля тридцать второго года, а следующее двадцать девятое случалось только теперь. Три года подряд день рождения праздновали двадцать восьмого, потому что Игорь сказал — «не первого же марта, это уже весна, это нечестно». Кася не понимала, в чём нечестность, но торт ела.

В этот раз торт будет в свой день. Настоящий. Кася нарисовала его тоже — на другом листе, коричневый, с четырьмя свечками, причём одна свечка была зелёная, а три — красные, и на вопрос «почему» Кася ответила: «Одна — дедушкина». Какого дедушки, Даша спрашивать не стала. Отец Игоря умер, когда Игорь был в армии. Её собственный отец жил в Тольятти с новой женой и звонил на Новый год.

Даша знала, какого дедушки.

Она старалась об этом не думать четыре года, и у неё почти получалось.

Кася родилась не дома и не в роддоме. Она родилась на чужой кухне, на Верхне-Кирпичной, тринадцать, на старой простыне с вышитой меткой, в три часа семнадцать минут ночи. Роды начались на месяц раньше, в метель, когда «скорая» не могла проехать, а муж был на трассе, — и Даша, которая до того дня считала себя нормальным человеком с высшим экономическим образованием, бежала по сугробам к дому, о котором Игорь говорил: «Если что, Даш, — Верхне-Кирпичная, тринадцать. Там свои».

Там оказались свои. Ведьма. Её муж, участковый, Игорев напарник. Кот, который — Даша готова была поклясться — сказал «тьфу» человеческим голосом. Старик в котелке и с моноклем, которого все звали дядей Ерёмой. Сваха из ЗАГСа. Лось. Да, во дворе стоял лось.

И ещё там был кто-то, кого Даша не видела, но чувствовала — всем телом, всей кожей, как чувствуют, что за спиной

открыли дверь на мороз. Кто-то огромный, сидевший во главе стола. Кто-то, на кого все — ведьма, участковый, старик в котелке, даже кот — посматривали, как на грозу за окном.

Потом ей объяснили. Не сразу, а через месяц, когда она пришла на Верхне-Кирпичную с тортом — сказать спасибо. Ведьма — Василиса Андреевна — налила ей чаю и сказала очень спокойно, как говорят врачи, когда хотят, чтобы ты не упала со стула:

— Даша, вы только не пугайтесь. В ту ночь у нас за столом сидел Касьян. Немилостивый. Тот самый, из сказок. Он просыпается раз в четыре года, двадцать девятого февраля. И вашей дочке дали его имя.

Даша не испугалась. Она тогда была слишком уставшей, чтобы пугаться. Она спросила только:

— Это плохо?

Василиса Андреевна подумала.

— Не знаю, — сказала она честно. — Ему никто никогда не давал имени. Мы не знаем, что из этого выйдет.

Четыре года ничего не выходило.

То есть — выходило, конечно. Но понемногу. Так, что можно было не замечать.

У Каси на подоконнике всегда всё цвело. Это все отмечали. Фиалки, герань, кактус, который свекровь подарила ещё на свадьбу и который за восемь лет не выпустил ни одного бутона, — при Касе он зацвёл дважды, розовым, огромными цветами, похожими на граммофоны. Лук в банке выстрели-

вал за сутки. Картошка в овощном ящике прорастала, если Кася заглядывала туда в поисках яблока. В садике, в средней группе «Солнышко», фикус, стоявший в углу с советских времён, весной выкинул новый побег длиной в метр, и заведующая отправила фотографию в районную газету с подписью «Наши юные экологи».

Даша не возражала. Никто не умирал, никто не болел. Наоборот. Хомяк Беня, которого купили, когда Касе было два, жил уже вдвое дольше положенного и выглядел так, будто собирается на пенсию не раньше, чем через десять лет. Игорь смеялся: «Ну, у нас ребёнок — удобрение. Можно огород не заводить».

А этой зимой — началось по-настоящему.

Сначала в декабре потекла сосулька над подъездом. Одна, та, на которую Кася смотрела каждое утро по дороге в садик. Все остальные висели себе, а эта капала, капала, капала, и под ней на ступеньках намерзал ледяной бугор, и дворник Ахмед ругался и сбивал его ломом, а назавтра бугор вырастал снова.

Потом, в январе, Кася на прогулке в садике посмотрела на горку. Ледяную, которую залили воспитатели. Посмотрела — и горка поплыла. Не вся, а полоса посередине, ровно в ширину взгляда. Воспитательница Светлана Олеговна потом рассказывала Даше, бледнея: «Мы думали — прорвало трубу. Вызвали аварийку. Они приехали, походили, говорят — никаких труб тут нет, тут газон».

Потом в феврале был Беня. Кася смотрела на Беню, пока он ел морковку, и Беня — Даша видела своими глазами — оброс. За вечер. Длинной, пушистой, шелковистой шерстью, как у ангорского кролика, так что из клетки торчал рыжий шар с двумя бусинками глаз. Беня был в восторге. Он теперь спал в собственной шерсти, как в гнезде, и выглядел как маленькая рыжая хризантема.

И, наконец, берёза.

— Даша, — сказал Игорь вечером, во вторник, когда Кася уснула. — Давай поговорим.

Он сидел на кухне в форменной рубашке, расстёгнутой на две пуговицы. Он только что пришёл со смены и ещё не переоделся. На столе стоял нетронутый ужин. Игорь смотрел в окно, на чёрную берёзу, освещённую фонарём.

— Давай, — сказала Даша.

— Я сегодня в отдел зашёл, — сказал Игорь. — К экспертам. Там у нас Мишка Глухов, он с растениями что-то делал, в Тимирязевке учился, пока не передумал. Я ему лист показал. С берёзы.

— Зачем?

— Затем, — сказал Игорь, — что я хочу понимать. — Он потёр лицо ладонями. — Он посмотрел в микроскоп. Сказал — лист нормальный. Взрослый. Сформированный. Как в середине июня. Сказал — такого не бывает, чтобы за полдня. Спросил — откуда. Я сказал — с дачи, из теплицы.

Даша молчала.

— Я соврал, — сказал Игорь. — Мишке. Я ему никогда не врал. Мы с ним в одной роте служили.

Он помолчал.

— Даш. Это ведь не пройдёт само. Ты же видишь. Было — фиалки. Стало — берёза. Что дальше? Тополь? Парк? Волга?

— Не преувеличивай.

— Я не преувеличиваю. Я считаю. — Игорь повернулся к ней. — Я полицейский, я умею считать. Декабрь — сосулька. Январь — горка. Февраль — берёза. Это — рост. Как у неё, у Каси. Она растёт — и это растёт. — А в пятницу у неё день рождения. Двадцать девятое. Его день. Первый раз за четыре года.

Даша поставила чашку.

— И что ты предлагаешь?

Игорь долго молчал.

— Я хочу, чтобы это убрали, — сказал он наконец.

— Кто?

— Ведьма. Вася. Шмелёва. — Он махнул рукой куда-то в сторону Верхне-Кирпичной. — Егор говорит, она умеет нитки завязывать. Развязывать. Резать. Он мне сто раз рассказывал. Пусть завяжет. Или отрежет. Пусть Кася будет — как все. Нормальная девочка. С фиалками — ладно, пусть с фиалками. Но не с берёзами.

Даша смотрела на мужа.

Он был хороший. Он был очень хороший, Игорь Колес-

ников, сержант, а теперь — старший лейтенант, напарник участкового Шмелёва. Он любил дочь так, что иногда, ночью, вставал и шёл посмотреть, как она дышит. Он четыре года назад стоял на коленях у чужого стола и полчаса не решался взять её на руки — боялся уронить. Он и сейчас боялся. Того же самого. Уронить.

— Игорь, — сказала Даша. — А если это — она? Не «это». Она сама?

Игорь не ответил.

— Если у Каси отрезать то, что берёзы распускает, — сказала Даша, — что останется? Ты знаешь? Я — нет. Может, останется нормальная девочка. А может — половина девочки.

— Даша…

— Я завтра пойду к Василисе, — сказала Даша. — Сама. С Касей. Посоветуюсь. А потом решим. Вместе. Ладно?

Игорь смотрел на неё.

Потом кивнул.

— Ладно, — сказал он. И добавил, уже вставая, уже в дверях, глухо, не оборачиваясь: — Только пусть посмотрит. На Касю. Внимательно. Мне кажется, она… — Он запнулся. — Мне кажется, ей самой страшно.

И ушёл в комнату.

Даша осталась на кухне. Смотрела на рисунок, прилепленный магнитом к холодильнику. Жёлтое солнце с ресницами. Белое пустое место.

«Ей тепло».

Утром, в среду, двадцать седьмого, Кася проснулась раньше всех. Даша услышала, как скрипнула кроватка, как прошлёпали босые ноги по коридору, как щёлкнул выключатель в ванной. Потом — тишина. Слишком долгая.

Даша встала.

Кася стояла в ванной на табуретке и смотрела в зеркало. В пижаме с жирафами. Рыжая, лохматая со сна, с отпечатком подушки на щеке.

— Кась? Ты чего?

Кася не обернулась.

— Мама, — сказала она. — А почему я не расту?

Даша не поняла.

— Ты растёшь. Мы же в субботу мерили. Сто три сантиметра. На два больше, чем в ноябре.

— Нет, — сказала Кася. — Я смотрю на себя, а я не расту. А всё, на что смотрю, — растёт. Беня вырос. Берёза выросла. Кактус. А я смотрю-смотрю — и ничего.

Она повернулась к матери. Глаза у неё были зелёные — не серые, не карие, а именно зелёные, яркие, как молодой лук на подоконнике. У Даши были серые. У Игоря — карие. Свекровь, увидев внучку в первый раз, сказала: «В кого такие глазищи?» — и Даша промолчала.

— Значит, на себя нельзя, — сказала Кася. Сама себе. Задумчиво. — Это только для других.

И слезла с табуретки.

Даша смотрела на неё. На маленькую, серьёзную, рыжую девочку, которая в три года одиннадцать месяцев уже обнаружила правило своей собственной магии и сформулировала его точнее, чем сформулировал бы взрослый.

«Только для других».

«Мне кажется, ей самой страшно».

— Кась, — сказала Даша. — Пойдём сегодня в гости?

— К кому?

— К тёте Васе. На Верхне-Кирпичную. Где ты родилась.

Кася подумала.

— Там кот, — сказала она. — Папа говорил. Говорящий.

— Говорящий, — подтвердила Даша.

— А он со мной будет говорить?

— Не знаю, — сказала Даша. — Он, говорят, не со всеми.

Кася подумала ещё.

— Со мной будет, — сказала она уверенно. И пошла одеваться.

В садик в тот день Кася не пошла. Даша позвонила Светлане Олеговне, сказала — температура, и Светлана Олеговна ответила с плохо скрытым облегчением, что, конечно, пусть отлежится, и вообще, может, до понедельника, у них тут как раз окна моют. Окна в садике не мыли в феврале никогда. Даша поняла и не обиделась.

Они вышли в десять.

На улице было минус пятнадцать и солнце — то самое солнце, жёлтое, с ресницами, только ресницы у настоящего

были из инея на Дашиных ресницах. Снег визжал под ногами. Кася шла, держа маму за руку, в красном комбинезоне и шапке с помпоном, и смотрела по сторонам, и Даша — в первый раз — смотрела вместе с ней. Туда же, куда дочь.

Кася посмотрела на сугроб у подъезда — и с сугроба побежала вода. Тонкой струйкой. Кася отвела глаза — струйка замёрзла.

Кася посмотрела на воробьёв на проводе — воробьи распушились, стали вдвое толще, зачирикали так, как чирикают в апреле, и один из них, самый наглый, слетел вниз, к Касиным ногам, и подобрал с наледи что-то невидимое.

Кася посмотрела на старика с палочкой у остановки — и старик выпрямился. Чуть-чуть. Расправил плечи. Посмотрел вокруг удивлённо, как будто вспомнил что-то хорошее, и пошёл — не к остановке, а мимо, по улице, бодро постукивая палкой.

— Кась, — сказала Даша. — Ты видишь?

— Что?

— Что ты… делаешь.

Кася посмотрела на неё снизу. С недоумением.

— Я ничего не делаю, — сказала она. — Я просто смотрю.

В автобусе Даша посадила её у окна. И всю дорогу, двадцать минут, с Монгоры до Советской, смотрела, как за стеклом, по ходу автобуса, отрезками, будто кто-то проводил по городу мокрой кисточкой, — темнеют и плывут сугробы, капают сосульки, на голых липах вдоль дороги набухают почки.

Позади, где Кася уже не смотрела, всё схватывалось снова, обрастало инеем, затягивалось льдом. Как будто по зимнему городу ехала маленькая весна. Размером с автобусное окно.

Пассажиры не замечали. Пассажиры смотрели в телефоны.

Только одна старушка напротив, в пуховом платке, долго глядела на Касю, а потом на липы, а потом снова на Касю. И когда автобус остановился у рынка, и старушка поднялась, чтобы выходить, она наклонилась к Даше и сказала тихо, по-деревенски напевно:

— Касьянова?

Даша вздрогнула.

— Что?

— Девонька, — сказала старушка. — Двадцать девятого рождённая? Касьянова?

Даша молча кивнула.

Старушка покачала головой. Посмотрела на Касю — с жалостью, но и с чем-то ещё, похожим на уважение.

— У нас в Рамено тоже была, — сказала она. — Касьянова. Давно, до войны ещё. Мать моя говорила. Тоже всё глядела. И тоже — не вовремя.

— И что с ней было? — спросила Даша. Голос у неё сел.

Старушка уже стояла в дверях. Обернулась.

— Не знаю, — сказала она. — Увезли её куда-то. В город. Лечить.

Двери закрылись.

Даша сидела, держа Касю за руку, и смотрела на свою руку. Рука дрожала.

— Мама, — сказала Кася. — Нам выходить?

— Через одну, — сказала Даша. — Через одну, солнышко.

На Верхне-Кирпичной калитка запела.

Даша этого не ожидала. Она забыла — или не знала, в ту метельную ночь ей было не до калиток. Зелёная, деревянная, с облупившейся краской, она запела, едва Даша тронула щеколду, — четыре ноты, вверх и вниз, как колыбельная, — и Кася ахнула и вцепилась в мамину руку.

— Она поёт!

— Поёт, — сказала Даша.

— А ей холодно?

Даша не успела ответить. Кася уже смотрела на калитку — внимательно, серьёзно, своими зелёными глазами.

И калитка — зацвела.

Из старого, серого, двадцать раз крашеного дерева, из щелей, из трещин, из-под облупившейся зелёной краски полезли побеги. Тонкие, светлые, с острыми листочками. Пошли вверх, по штакетинам, закручиваясь, переплетаясь. Раскрылись почки. Распустились листья — круглые, сердечком. А на самом верху, на перекладине, вспыхнули цветы. Белые. Мелкие. Пахнущие так сладко, что у Даши закружилась голова.

Калитка пела. Уже не четыре ноты — пять. Шесть. Какую-то новую, длинную, незнакомую мелодию, весёлую, как

скворец в апреле.

Дверь дома открылась.

На крыльце стояла ведьма. Василиса Андреевна. В халате, накинутом на свитер, с кружкой в руке. Смотрела на калитку.

За ней, в дверях, — участковый Шмелёв, с полотенцем на шее, недобритый.

А у их ног — кот. Чёрный. Огромный. С жёлтыми глазами.

Кот смотрел на калитку. Потом — на Касю.

Кася смотрела на кота.

— Тьфу, — сказал кот.

— Здравствуйте, — сказала Кася. Вежливо. — Вы — говорящий?

Кот помолчал. Покосился на ведьму. Ведьма пожала плечами.

— Говорящий, — сказал кот. Хмуро. — А ты — цветущая. Убери-ка глаза от калитки, пока она у нас в сад не ушла.

Кася послушно перевела глаза. С калитки — на кота.

И Даша увидела, как чёрный кот начинает расти.

Не в высоту. В ширину. В пушистость. Шерсть на нём вставала дыбом, удлинялась, распушалась, как одуванчик, как Беня, — и кот, в котором и так было килограммов восемь, через десять секунд стал похож на чёрное облако с жёлтыми глазами и торчащими усами.

Кот посмотрел на себя.

Потом — на ведьму.

— Васёна, — сказал он. Очень спокойно. Слишком спокойно. — Сделай что-нибудь.

Ведьма поставила кружку на перила.

— Даша, — сказала она. — Проходите. Кажется, у нас долгий разговор.

Глава 2. Рисунок второй: кот-облако

Кася нарисовала Модеста через полчаса после того, как увидела его впервые. На рисунке он был круглый, чёрный, во весь лист, с двумя жёлтыми точками посередине и усами, торчащими за края бумаги. Подпись — печатными буквами, с перевёрнутой «Я», под диктовку Даши: «КОТ МОДЕСТ. ОБЛАКО».

Модест посмотрел на рисунок и сказал, что в жизни не видел более оскорбительного портрета. И что он требует его себе. Немедленно. Для архива.

Но это было потом. Сначала Василиса пыталась вернуть коту прежние размеры, и у неё ничего не получалось.

Она стояла посреди кухни, повернув внутри себя ручку — так она про себя называла это движение, с которого начинается ведьмино зрение, — и смотрела на Модеста. Нитки у кота были в полном порядке. Все до одной: к ней, к Фролу, к Усте, к Луи, к печке, к левому валенку, которого больше не было, но нитка к нему ещё висела, тонкая, провисшая, как бельевая верёвка после зимы. Ни одна не порвалась, ни одна не перепуталась. Модест был здоров, бодр и зол.

Просто шерсти на нём было втрое больше, чем полчаса назад.

— Это не порча, — сказала Василиса наконец. — И не наговор. Это… это просто шерсть.

— Я вижу, что это шерсть, — сказал Модест из глубины своей шерсти. Голос звучал глухо, как из-под одеяла. — Я двести лет живу в этой шерсти. Я её знаю. Это — не моя шерсть. Моя шерсть лежала. Гладко. С блеском. А эта — стоит. Как у болонки. Как у той собачонки с Ульяновской, которую хозяйка возит в коляске.

— Она отрастёт… то есть — пройдёт.

— Когда?

Василиса не ответила. Она не знала.

Даша сидела за столом, держа Касю на коленях, и смотрела на всё это с выражением человека, который приготовился к худшему и теперь не уверен, хуже это или лучше. Кася смотрела в стол. Даша попросила её: «Солнышко, посмотри пока на клеёнку», — и Кася честно смотрела на клеёнку, старую, Агафьину, в синих васильках, которые — Василиса это видела краем глаза — понемногу наливались цветом, становились ярче, гуще, а один, у самого Касиного локтя, кажется, начинал приподниматься над поверхностью.

— Устя, — позвала Василиса. — Можно тебя?

Из-за печки высунулась серая мордочка. Посмотрела на Модеста. На глазах у кикиморы выступило что-то, очень похожее на слёзы, — но не от горя.

— Ой, — сказала Устя тонко. — Ой-ой-ой. Сколько.

И вылезла целиком. С гребешком в одной руке и пустой

корзинкой в другой.

— Только посмей, — сказал Модест.

— Немножко, — сказала Устя. — С боку. Тебе же легче будет.

— Мне не будет легче. Мне будет унизительно.

— А так — жарко, — сказала Устя рассудительно. — Ты на печке спишь. Сваришься.

Модест подумал. Посмотрел на печку. На себя.

— С боку, — сказал он. — И не с хвоста. Хвост — не трогать. Хвост — это святое.

Устя села рядом с ним на лавку и принялась чесать. Шерсть сходила легко, охапками, мягкая и тёплая, и корзинка наполнялась на глазах. Кикимора чесала с выражением абсолютного счастья. Модест терпел с выражением мученика на иконе.

— Ты зачем на него посмотрела? — спросила Даша у дочери. Негромко. Без упрёка.

— Он красивый, — сказала Кася клеёнке. — Я хотела, чтобы он ещё красивее.

Модест перестал ворчать.

Помолчал.

Потом сказал из-под Устиного гребешка — с достоинством, которого не могла убить никакая лишняя шерсть:

— Это, конечно, правильно. Но — лишнее. Я и так был — достаточно.

Василиса посмотрела на Дашу. Даша посмотрела на Васи-

лису.

— Она хотела как лучше, — сказала Даша.

— Я вижу, — сказала Василиса.

Она села напротив. Отпила остывший чай. Подумала, с чего начать, и решила начать с самого простого.

— Даша, расскажите всё. С самого начала. Что было, когда, сколько. Подряд.

Даша рассказала. Про фиалки, про кактус-граммофон, про фикус в садике и Беню-хризантему. Про сосульку, горку и берёзу. Про автобус и старушку из Рамено. Про то, что сказал Игорь. Василиса слушала, не перебивая, и смотрела — не на Дашу, а на Касю. На её нитки.

Ниток у девочки было много. Больше, чем бывает у четырёхлетних. Мама, папа, бабушки, садик, Беня, какая-то Полина из группы, воспитательница, дворник, соседка снизу, — обычные детские нитки, тонкие, разноцветные, яркие, как фломастеры. Но под ними, в самой глубине, у сердца, — была ещё одна.

Зелёная.

Толстая, как бечёвка. Плотная. Живая — она чуть заметно пульсировала, как жилка на виске. И уходила она не в сторону, не к людям, а — вниз. В пол. Сквозь доски, сквозь подпол, сквозь землю. Туда, куда уходят нитки, которые тянутся очень далеко.

Василиса повернула ручку сильнее. До боли в висках. Пошла взглядом вслед за ниткой — через огород, под снегом,

под мёрзлой землёй, к Волге, под лёд, вдоль берега — и дальше, на северо-восток, к тёмной громаде над рекой, которую в Сызрани видно в ясную погоду с любой горки.

К Жигулям.

И там нитка уходила в камень. В глубину. В какую-то пустоту внутри горы, откуда тянуло холодом и сном.

В Касьянову яму.

Василиса отпустила ручку. Перед глазами плыли круги.

— Что? — спросила Даша. Она увидела лицо Василисы. — Что там?

— Она привязана к нему, — сказала Василиса.

Не стала уточнять — к кому. Даша и так поняла. Побелела.

— Это… Он её… забирает?

— Нет, — сказала Василиса. — Не так. — Она искала слова. — Это не он к ней тянется. Это они — одной ниткой. Как два конца одной верёвки. С одной стороны — он. С другой — она.

— Почему?

— Имя, — сказала Василиса. — Ему за тысячу лет никто никого не называл в его честь. Даже Еремей — сын — носит его только в отчестве. А Касю назвали. В его день, в его честь, при нём, при живом. Он тогда — я видела — он тогда заплакал. Первый раз. — Имя — это нитка, Даша. Самая толстая, какая бывает. Толще крови.

Даша прижала Касю к себе. Кася не сопротивлялась, толь-

ко продолжала смотреть на клеёнку, где под её взглядом медленно, лепесток за лепестком, раскрывался на синей клеёнке синий василёк.

— А почему она — растит? — спросила Даша. — Если он — тот, от которого всё вянет?

Василиса посмотрела на неё.

— А вы подумайте, — сказала она. — У верёвки два конца. Если на одном — зима. Что на другом?

Даша долго молчала.

— Весна, — сказала она наконец. Шёпотом.

— Весна.

— И когда он спит…

— Тогда и её конец почти спит. Фиалки. Кактус. Беня. — Василиса кивнула на окно, за которым было пронзительно-синее февральское небо. — А сейчас он просыпается. Послезавтра — двадцать девятое. Он уже ворочается там, под горой. Конец верёвки натягивается. И её — тоже натягивает. Поэтому — берёза. Поэтому — горка.

— А послезавтра?

Василиса не ответила.

На печке что-то зашуршало. Потом закашляло. Потом раздался голос — хриплый, недовольный, явно только что разбуженный:

— Девка. Это что такое?

Фрол Евсеич стоял на краю лежанки, держась одной рукой за трубу, а другой — за бороду.

Борода у Фрола всегда была длинная — до пояса, клочковатая, как пакля, которой конопатят брёвна. Сейчас она доставала до пола. Вернее — до лавки, на которую свисала с печки, а с лавки — на пол, и там, на полу, ещё лежала, кольцами, как корабельный канат.

— Я на минутку прилёг, — сказал Фрол. В голосе было неподдельное изумление. — После блинов. Глаз не сомкнул. Ну, может, один. А тут — вот.

Он дёрнул бороду. Борода не поддалась.

Василиса посмотрела на Касю.

Кася смотрела на клеёнку. Честно. Не поднимая глаз.

— Кась, — сказала Даша. — Ты на дедушку смотрела? На печке?

— Нет, — сказала Кася. — Я на клеёнку. Ты сказала.

Василиса нахмурилась. Повернула ручку — чуть-чуть, щадя гудящую голову. Посмотрела на кухню.

И увидела.

Это было не от взгляда. Вернее — не только от взгляда. От Каси, от всего её маленького тела в красном свитере, шло — во все стороны, как от печки идёт жар, — что-то тёплое, зелёное, неуловимое. Слабое, если стоять далеко. Сильнее — если близко. Оно заполняло кухню, как запах пирогов, как пар от чайника. Оно было в воздухе. И всё, что было в этом воздухе, всё живое, что могло расти, — росло. Чуть-чуть. Медленно. Но росло.

Борода — росла.

Шерсть на Модесте — росла, потихоньку, даже под Устиным гребешком.

Фиалка на подоконнике — бабушкина, тёмно-лиловая — выпустила за полчаса два новых бутона.

Василиса посмотрела на свои руки. Ногти — ногти были длиннее, чем утром. Явно. На пару миллиметров.

— Даша, — сказала она медленно. — Когда это началось? Вот это — не от взгляда, а вокруг?

— Что — вокруг? — не поняла Даша.

Василиса показала на бороду Фрола.

Даша посмотрела. На бороду. На кота. На свои руки — и тоже увидела ногти.

— Не знаю, — сказала она. — Сегодня? Вчера? Я не… Я не замечала. Мы дома — у нас всё всегда… — Она замолчала. Потом сказала совсем тихо: — Игорь в последнее время бреется два раза в день. Я думала — для начальства.

Фрол Евсеич наконец справился с бородой. Он намотал её на руку, как пряжу, — получился ком размером с хороший кочан капусты, — и, кряхтя, слез с печки.

Подошёл к столу. Остановился в двух шагах от Каси. Посмотрел на неё снизу вверх — Фрол был ростом с табуретку, а девочка сидела у матери на коленях.

Кася подняла глаза от клеёнки.

Посмотрела на Фрола. Прямо. Зелёными своими глазищами.

Фрол не отвёл взгляда.

Секунду. Две. Пять.

Борода у него на руке шевельнулась и полезла дальше, через пальцы, вниз.

— Ну, здравствуй, — сказал Фрол Евсеич.

— Здравствуйте, — сказала Кася. — Вы кто?

— Я — домовой здешний. Фрол Евсеич.

— А почему у вас борода такая длинная?

Фрол хмыкнул.

— А это, — сказал он, — ты мне скажи.

Кася подумала.

— Это я, — сказала она. Виновато. — Да?

— Ты, — сказал Фрол. Не сердито. Скорее с любопытством. — Я тебя, между прочим, первый на руках держал. Знаешь? Четыре года назад. Ведьма тебя приняла, на простыню положила, а мать без сил была. Так я тебя взял. Тебе от роду было — минута. — Ты тогда тоже — смотрела. Прям мне в глаза. Глаза были — мутные, младенческие. А всё одно — смотрела.

— И что было?

— А ничего не было, — сказал Фрол. — Ну, борода чуток подросла. На вершок. Я не заметил даже. Это мне потом Устя сказала.

Из-за спины Модеста донеслось тонкое:

— На полтора.

— На полтора, — поправился Фрол. И опять посмотрел на Касю. — Тогда — на полтора вершка. А сегодня — вон.

— Он приподнял ком бороды. — Растёшь, значит.

— Я не расту, — сказала Кася. Грустно. — Всё растёт. А я — нет.

Фрол Евсеич смотрел на неё долго. Потом — неожиданно — улыбнулся. В бороду. Так, что её стало чуть-чуть меньше видно.

— А это, — сказал он, — мы ещё поглядим.

В половине второго из школы пришли близнецы.

Гаша влетела первой — рюкзак на одном плече, шапка в руке, коса растрепалась, щёки красные. Сегодня была контрольная по математике, и Гаша её, судя по лицу, написала. Или не написала, но была уверена, что написала. С Гашей это было трудно различить.

— Мама, у нас Сидоренко на перемене… — начала она с порога и осеклась.

Посреди кухни стоял Луи.

Луи жил в бане. На кухню он приходил редко, по особым случаям, — пообедать, погреться на печке в сильные морозы или посмотреть с Фролом «Поле чудес», которое оба почему-то обожали. Луи был сфинкс: лысый, розовый, морщинистый, с огромными ушами и глазами, похожими на два крыжовника. Зимой он ходил в рыжем свитере, связанном Устей. Летом — так. Без всего. Он говорил «мон ами», топил баню лучше любого банника и не стыдился своей наготы ни единой минуты за всю жизнь.

Теперь Луи был покрыт шерстью.

Рыжей. Пушистой. Длинной, как у сибирского кота. Шерсть лезла из ворота свитера, из рукавов, торчала над ушами, как бакенбарды, и обрамляла морду густым, золотисто-рыжим воротником. Свитер на нём трещал по швам.

Луи стоял посреди кухни на задних лапах — передние он поднял и держал перед собой, растопырив пальцы, — и смотрел на них. На свои лапы. Покрытые пухом.

— Мон ами, — сказал Луи. Голос у него дрожал. — Мон ами. Мон ами. Вы видите?

— Видим, — сказал Модест. Мрачно.

— Я — пушистый, — сказал Луи. — Я. Пушистый. Как ты. Как Зефирка. Как мама. — Голос сорвался. — Мама была — пушистая. Серая. Мягкая. Я под её боком лежал, когда она… когда последний раз. И думал — вот бы мне. Хоть клочок. А я — вот. Я… — Он сел. Прямо на пол. Посреди кухни. В лопающемся свитере. — Я — кот. Настоящий кот.

Гаша стояла в дверях. Алёша — за ней. Оба смотрели на Луи.

Потом Гаша посмотрела на Касю.

Нахмурилась. Сразу, привычно — Евдокиины брови сошлись над переносицей, и Василиса поняла, что дочь видит. Всё видит, без всякой ручки, как видела с рождения. И зелёную нитку под полом, и тёплое облако вокруг, и Модестову шерсть, и Фролову бороду, и всё остальное, о чём Василиса, возможно, ещё не догадалась.

— Мама, — сказала Гаша. Тихо. — Это Кася? Колесни-

кова?

— Кася.

Гаша подошла к столу. Остановилась напротив. Девочки смотрели друг на друга — восьмилетняя (послезавтра) и четырёхлетняя (послезавтра), обе рождённые двадцать девятого февраля, обе с глазами, которые видят больше, чем положено.

Кася — зелёными. Гаша — тёмными, нахмуренными.

Гашины волосы — Василиса видела — начали отрастать. На затылке. Коса, и так длинная, удлинялась на глазах.

Гаша не обратила внимания.

— Ты — как я, — сказала она.

— Как ты? — спросила Кася.

— Я тоже вижу. Больше, чем надо. — Гаша подумала. — Только я вижу — а ты делаешь. Это хуже. То есть — сильнее. — Она подумала ещё. — Тебе страшно?

Кася помолчала.

Потом кивнула. Один раз. Очень коротко.

— Мне тоже было, — сказала Гаша. — Мне Евдокия Марковна сказала — брови хмурить. Тогда видно меньше. — Она показала. Нахмурилась — сильно, так что между бровей легла складка, похожая на трещину в льдине. — Вот так. Попробуй.

Кася нахмурилась. Старательно. Сморщила нос, сжала губы, свела рыжие брови.

Ничего не изменилось. Облако вокруг неё осталось таким

же. Гашина коса продолжала расти.

— Не работает, — сказала Гаша. Разочарованно. — У тебя — по-другому.

И тогда с лавки, из-под Устиного гребешка, раздался голос:

— Жмурься.

Все посмотрели на Модеста.

Кот лежал на боку, наполовину вычесанный, — с одного бока гладкий и блестящий, как раньше, с другого — облако. Глаза у него были прищурены. Почти закрыты. Две жёлтые щёлочки.

— Кошки, — сказал Модест, — когда им хорошо, — жмурятся. Слышала? Не закрывают глаза. Не открывают. А — вот так. — Он сощурился ещё сильнее. — Полглаза. Пол-мира. Это — правильно. На весь мир сразу смотреть — вредно. Глаза устают. И мир — тоже устаёт.

Кася смотрела на него.

— Как это?

— Вот так, — сказал Модест. Показал. Медленно. Приоткрыл глаза — сощурил — приоткрыл — сощурил. — Как будто ты на солнце смотришь. Но тебе тепло. И лень.

Кася сощурилась. Неумело. Сморщив всё лицо, как от лимона.

— Не так. Не морщись. Только веки. Нижние — вверх. Верхние — вниз. Лениво. Как будто спать хочешь, а не хочешь.

Кася попробовала ещё раз.

И ещё.

На пятый раз у неё получилось. Почти. Две зелёные щёлочки на рыжем лице. Как у котёнка.

И Василиса, которая всё это время держала ручку повёрнутой на четверть, увидела, как облако вокруг девочки — стянулось. Не исчезло. Но сжалось. Втрое. До размеров самой Каси. Как будто кто-то прикрутил фитиль.

Гашина коса перестала расти.

Борода Фрола на полу — замерла.

Луи на полу, в рыжей шерсти, всхлипнул.

— Нет, — сказал он. — Нет-нет-нет, мон ами, мадемуазель, не надо, пожалуйста. Ещё немножко. Я только… Я только начал…

Кася раскрыла глаза. От неожиданности. Посмотрела на Луи.

Луи — распушился. Мгновенно. Ещё больше. Как одуванчик, на который дунули наоборот.

Свитер лопнул по шву.

— О-о-о, — сказал Луи. Блаженно. И лёг на спину. Посреди кухни. Раскинув лапы.

Модест на лавке закатил глаза.

— Тьфу, — сказал он. — Вот поэтому кошки и жмурятся. Чтобы на таких — не смотреть.

Кася засмеялась.

Первый раз за весь день. Звонко. Неожиданно — для себя,

для матери, для всех. Засмеялась, глядя на распушившегося Луи, на скорбного Модеста, на Фрола с бородой, намотанной на руку, — и смех у неё был такой, что на подоконнике, у бабушкиной фиалки, раскрылись оба новых бутона. Разом.

Даша смотрела на дочь. У неё в глазах стояли слёзы.

Василиса тронула её за руку.

— Мы не будем ничего резать, — сказала она тихо. — Даша. Я обещаю. Пока — не будем. Сначала надо дождаться его.

— Касьяна?

— Он — другой конец верёвки, — сказала Василиса. — Если и тянуть, то за оба. А его нет. Он спит. Послезавтра — проснётся. Тогда посмотрим.

Даша долго молчала.

— А Игорь? — спросила она.

Василиса подумала об Игоре Колесникове. О том, как он стоял на коленях у их стола. Как не решался взять дочь на руки.

— Игоря, — сказала она, — мы позовём. Сегодня вечером. Пусть придёт. Сам посмотрит. — Она помолчала. — На кота-облако. На бороду. На Луи.

— Он не поверит.

— А ему не надо верить, — сказала Василиса. — Он полицейский. Ему надо — видеть.

Гаша тем временем уже сидела рядом с Касей на лавке. Алёша — с другой стороны. Близнецы — по бокам, как стра-

жи. Гаша что-то объясняла, загибая пальцы. Алёша молчал и слушал, как всегда, — но слушал, как заметила Василиса, не Гашу и не Касю, а — что-то другое. Что-то за стенами. Под полом.

— Алёша, — позвала она. — Что?

Сын поднял голову.

— Дом говорит, — сказал Алёша, — что такое уже было.

— Что — было?

— Двести лет назад, — сказал Алёша. — Тоже девочка. Тоже рыжая. Тоже — двадцать девятого. Тут, на этой кухне. — Он помолчал, прислушиваясь. — Дом не помнит, как звали. Помнит — что цветы на окне в феврале. И что потом её увезли.

— Куда?

Алёша послушал ещё.

— Дом не знает, — сказал он. — Дом — только про себя знает. Про кухню. Её увезли — и всё. Её больше не было.

Он посмотрел на Касю. Кася — жмурилась. Старательно. Две зелёные щёлочки.

— Мама, — сказал Алёша. — Нам надо деду спросить. Касьяна. Он ведь помнит.

— Он спит, Алёш.

— Деда Ерёма разбудит, — сказал Алёша. — Он обещал. Песней. Он умеет. Устя научила. — Он в прошлый четверг приезжал, сказал: двадцать восьмого выйду. Завтра, значит. Он уже ботинки начистил, я видел.

Глава 3. Рисунок третий: гора с дыркой

Этот рисунок Кася нарисовала уже потом, когда всё кончилось, — по рассказам. Гора на нём была коричневая и острая, как треугольник из кубиков, а в боку у горы чернела дырка, аккуратно закрашенная так сильно, что карандаш прорвал бумагу. Из дырки торчали две пары рожек. Над горой Кася нарисовала шляпу. Просто шляпу — круглую, чёрную, висящую в небе. На вопрос «а где дядя?» она ответила: «Шляпа — это и есть дядя. Его под шляпой не видно».

Еремей Касьянович, увидев рисунок, долго смеялся, а потом попросил его себе и повесил на маяке, над столом, рядом с барометром.

Но тогда, двадцать восьмого февраля, ни о каких рисунках он не думал. Он думал о том, что Онуфрий опять сел не на тот автобус.

— Голубчик, — сказал Еремей Касьянович, стоя на обочине трассы под Сенгилеем и глядя вслед удаляющемуся «пазику» с надписью «Ульяновск». — Голубчик мой. Я же вам трижды сказал. Тольятти. Т-о-л-ь-я-т-т-и. Нам на юг, к Жигулям, а не в областной центр.

Онуфрий стоял рядом. Маленький, чёрный, лохматый, в ватнике поверх шерсти и в шапке-ушанке, натянутой на рога.

В руках — вилы. Старые, деревянные, с четырьмя зубьями, отполированными до блеска. Онуфрий носил их, как солдат носит винтовку, — всегда, везде, никогда не выпуская.

— Там же написано было «Ульяновск», — сказал Онуфрий. Обиженно. — Я по буквам читаю. Я не виноват, что мы не туда.

— Вы его остановили, голубчик. Вы ему махали вилами. Водитель, по-моему, до сих пор крестится.

— Я — для дела махал.

Рядом с Онуфрием, чуть позади, стоял Пантелей. Пантелей был выше, тоньше, сутулее и молчаливее. Тоже в ватнике, тоже с вилами. А под мышкой у Пантелея, бережно, как держат икону на крестном ходе или новорождённого ребёнка, — была стиральная машина.

Небольшая. Белая. Фронтальная загрузка, пять килограммов, класс энергопотребления «А». Четыре года назад её подарили Касьяну на день рождения близнецов Артём и Оксана — молодая пара с Ульяновской, которой Касьян, сам того не зная, сделал что-то хорошее. Подарили — и Касьян, не понимая, что это, но понимая, что это подарок, первый в его тысячелетней жизни, — велел беречь. А сам ушёл под гору спать.

Четыре года машина стояла на маяке в Сенгилее, в углу, под барометром. Розетку Глеб Борисович предлагал, воду тоже, но Пантелей не дал: хозяйская вещь, хозяин не велел. Стояла — без розетки, без воды, без смысла. Пантелей про-

тирал её каждый день. Пантелей с ней разговаривал. Пантелей — Еремей подозревал — её любил.

И теперь, когда настало время будить хозяина, Пантелей наотрез отказался оставлять машину на маяке. Сказал: «Он проснётся — а её нет. Он спросит. Что я скажу?» И понёс. Пешком. Сто сорок километров.

— Следующий — через полтора часа, — сказал Еремей Касьянович, сверившись с расписанием, прибитым к столбу. — Если будет. Расписание, голубчик, — от две тысячи девятнадцатого года. Тут уже тогда никто не ездил.

— Можно пешком, — сказал Онуфрий. — По льду. Через море.

Он кивнул на юг, туда, где за лесополосой, за белыми полями, лежало огромное, плоское, бесконечное пространство. Куйбышевское водохранилище. Жигулёвское море. Подо льдом — затопленные сёла, церкви, кладбища. А на льду — ничего. Снег. Ветер. И на горизонте — далёкая синяя полоска. Жигули.

— По льду — сутки, — сказал Еремей Касьянович. — Если не меньше. А нам к полуночи.

— Успеем, — сказал Онуфрий. — Мы быстро. Мы — черти.

— Вы — черти, — согласился Еремей. — А я — нет. Я — пожилой джентльмен в котелке. Триста пятьдесят три года. Подагра. И ботинки — английские, на тонкой подошве.

Пантелей, всё это время молчавший, вдруг сказал:

— Хозяин бы пошёл.

Еремей Касьянович посмотрел на него.

Пантелей стоял с машиной под мышкой и смотрел на синюю полоску на горизонте. Лицо у него было серьёзное.

— Хозяин, — повторил Пантелей, — когда Вы маленький были и через забор смотрели, — пешком ходил. Каждый раз. Вдоль всей Волги. Босой. Чтобы — увидеть.

Еремей Касьянович молчал.

Потом снял котелок. Пригладил редкие седые волосы. Надел котелок обратно.

— По льду, — сказал он. — Голубчики. Только, ради бога, — вилами не машите. На рыбаков.

Они вышли на лёд в одиннадцать утра.

Лёд был толстый — Еремей простучал тростью у берега, и звук ушёл глубоко, глухо, как в бочку. Снег на льду лежал не ровно, а волнами, застругами, — ветер с Жигулей вылизал его до твёрдости, до блеска, и идти было легко, если не думать о расстоянии. Еремей Касьянович не думал. Он шёл впереди, постукивая тростью, в котелке и пальто с бобровым воротником, и монокль у него в правом глазу поблёскивал на солнце, как маленький маяк.

Онуфрий и Пантелей шли сзади. Онуфрий — сбоку, по-хозяйски, вилы на плече. Пантелей — строго след в след, с машиной.

Через час Еремей Касьянович достал из кармана сложенный вчетверо листок. Развернул. Там, на клетчатой бумаге,

Гашиной рукой, крупно, были нарисованы четыре нотки. Без линеек — просто четыре кружочка с палочками, один выше, другой ниже, третий опять выше, четвёртый — в самом низу. А под нотками — Устиным почерком, кривым, с наклоном в обратную сторону:

«Калиткина. Аграфенина. Баю-бай. Тихо. Не громко. На выдохе».

Еремей Касьянович остановился. Откашлялся.

И запел.

Голос у него был — нельзя сказать, чтобы приятный. Хриплый, табачный, дребезжащий, с трещиной посередине. Он и не пел никогда. Триста пятьдесят три года — ни разу. Черти не поют. То есть — они поют, конечно, но не так. Они орут. На ярмарках, на свадьбах, в кабаках. Под балалайку. А колыбельные — нет.

Четыре ноты. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз.

Голос дрогнул на третьей.

Онуфрий позади сдавленно хрюкнул.

— Не смешно, голубчик, — сказал Еремей Касьянович, не оборачиваясь.

— Я не смеюсь, — сказал Онуфрий. — Я… это… Вы похоже поёте. На хозяйку калитки. Ну, на ту, на кикимору.

— Устя меня учила, — сказал Еремей. — Четыре четверга подряд. На маяке. Глеб Борисович уходил на рыбалку, чтобы не слышать. Пелагея Саввишна закладывала уши ватой. А Устя — терпела. Сидела на подоконнике, смотрела на Волгу

и терпела. Говорила: «Ещё раз. Не так. На выдохе». — Я её спросил — зачем на выдохе? Она сказала — потому что на вдохе берут. А на выдохе — отдают.

Он снова запел.

Четыре ноты. Над белой пустотой. Над затопленными сёлами. Над ветром.

Лучше. Чуть-чуть лучше.

Пантелей позади — Еремей не видел, но потом Онуфрий рассказывал — шёл и беззвучно шевелил губами. Повторял. Четыре ноты. Для машины.

К вечеру поднялся ветер.

Синяя полоска на горизонте выросла, превратилась в стену — тёмную, лесистую, с белыми прожилками оврагов. Жигули. Еремей Касьянович видел их тысячу раз — с маяка, с парохода, с берега, — но никогда вот так: снизу, со льда, усталым, замёрзшим, с ногами, которые к шестому часу ходьбы перестали быть ногами и стали чем-то вроде деревянных колодок.

Он остановился. Оперся на трость. Отдышался.

— Голубчик, — сказал он Онуфрию. — Который час?

— Без четверти шесть, — сказал Онуфрий, глянув на небо. Черти определяют время по небу. Всегда точно. До минуты.

— Сколько ещё?

— Часа три. До берега. Потом — вверх. Ещё час.

Еремей Касьянович кивнул.

Он не сказал, что ноги не идут. Он не сказал, что ботинки промокли насквозь и пальцы он уже не чувствует. Он не сказал, что в груди что-то колет, ровно и настойчиво, как будто кто-то тычет туда тупой спицей. Он был джентльмен. Джентльмены о таком не говорят.

Он просто пошёл дальше.

Через двадцать шагов Пантелей поравнялся с ним. Молча поставил на лёд стиральную машину. Молча повернулся спиной. Присел.

— Садитесь, — сказал Пантелей.

Еремей Касьянович посмотрел на него.

— Голубчик. Я — не могу. Это… неприлично.

— Садитесь, барин, — сказал Пантелей. — Хозяин бы велел.

— А машина?

— Онуфрий понесёт.

Онуфрий, стоявший рядом, открыл было рот — и закрыл. Посмотрел на машину. На Пантелея. На Еремея Касьяновича в мокром котелке.

Взял машину.

Еремей Касьянович сел Пантелею на закорки. Как в детстве. Как триста с лишним лет назад, когда маленький Ерёмка, сын Касьяна, — тогда ещё не знавший, что он сын Касьяна, — катался на спине у деревенского конюха. В Сызранской крепости. До того, как за ним пришли.

Пантелей пошёл. Ровно, широко, не сбиваясь. Вилы — в

одной руке. Ноги барина — в другой. Онуфрий — сбоку, с машиной под мышкой, ворча, что она тяжёлая, и что у него вилы, и что так не договаривались, и что если она разобьётся, то пусть Пантелей сам потом хозяину объясняет.

А Еремей Касьянович ехал на спине у чёрта по льду Жигулёвского моря, в сумерках, под первыми звёздами, — и пел. Тихо. На выдохе.

Четыре ноты.

Вверх. Вниз.

К Касьяновой яме они поднялись в начале двенадцатого.

Вход был там же, где всегда, — в овраге, на северном склоне, под старой сосной, которую молнией расщепило надвое. Обычный человек увидел бы здесь сугроб. Груду камней. Кусты. Черти и сын Касьяна видели щель. Узкую, высокую, тёмную, уходящую в гору.

Из щели тянуло холодом.

Не морозом — морозом тянуло отовсюду. А другим холодом. Глубоким, старым, неподвижным. Холодом, в котором не было движения. Как в погребе, куда сто лет не спускались. Как в комнате, где спит кто-то очень старый и очень уставший.

Еремей Касьянович слез с Пантелея. Постоял, держась за сосну. Отдышался.

И вдруг понял, что что-то не так.

Он не сразу понял — что. Он стоял, смотрел на щель, на камни вокруг, на сосну. И только через минуту дошло.

Камни у входа были зелёные.

Мох. Густой, яркий, изумрудно-зелёный мох, какой бывает в июне после дождя, — покрывал камни у самой щели. Сплошным ковром. А из-под мха, из трещин, торчали тонкие, нежные листочки. Папоротник. Молодой, ещё свёрнутый улиткой. Зимой. При минус двадцати. В Касьяновой яме, откуда тысячу лет тянуло только серым.

— Голубчики, — сказал Еремей Касьянович. Тихо. — Вы это видели? Раньше?

Онуфрий подошёл. Посмотрел. Поставил машину на снег.

— Не было, — сказал он. Голос у него сел. — Никогда не было. Мы, когда уходили, в марте, четыре года назад, — тут голо было. Камень. Лишай серый. Как всегда.

Пантелей молчал. Присел у входа. Протянул руку — чёрную, когтистую — к мху. Потрогал.

Мох был тёплый.

— Внутри, — сказал Пантелей. — Тоже.

Еремей Касьянович протиснулся в щель первым.

Внутри было темно. Он достал из кармана фонарик — подарок Егора, полицейский, ручной, с ремешком. Включил.

Свет ушёл вперёд по узкому коридору, вниз, — и Еремей Касьянович увидел, что зелень идёт дальше. По стенам. По потолку. Мох, лишайник, какие-то бледные цветочки на тонких ножках, которые растут только в тени. Полоска зелёного вилась вдоль коридора, как ковровая дорожка, — вниз, вниз, туда, где в самой глубине горы была яма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.